

Александр ХУРГИН. Исчезновения. Рассказы. Октябрь 2017, 4

Александр Хургин родился в Москве, жил на Украине, теперь – в Германии. Автор одиннадцати книг прозы, лауреат нескольких литературных премий. Его произведения переводились на немецкий, английский, французский, испанский и другие европейские языки.

СЕРВИЗ

Старик жил один. И давно. Очень давно.

Когда-то у него был кот. Но кот умер от старости. И это было тоже давно.

А еще раньше у старика была жена. Которая умерла лет за десять до кота. И больше у него не было никого. Вернее, никого не осталось. Потому что старик всех пережил. Всех без исключения. В том числе сестер, братьев и пожилого сына. А может быть, даже и внука своего он пережил. То есть с внуком неизвестно. Внук, возможно, и существовал где-нибудь на свете, но пропал без вести. Для старика, во всяком случае. Так что старик жил и ждал, когда наступит зима. И не знал, переживет ли ее. Старик зимы боялся. Зимой ему было холодно. Еще холоднее, чем обычно. Старость, как оказалось, холодное время в жизни человека. И длинное.

И помнил он себя только мерзнувшим и только старым. А молодым не помнил. И как он жил, когда был молодым, не помнил. И вспомнить не пытался. Там, в его молодости, было много разных людей. Люди его окружали и проходили сквозь его жизнь. Но они прошли и исчезли навсегда, и незачем их было извлекать из времени и ворошить. Совсем незачем. А без них как вспомнить себя? И то, что с тобою происходило. Не в вакууме же он жил, не в вакууме. Зато сейчас...

Вакуум – правильное слово. Подходящее. Конечно, образовался он вокруг старика не сразу. А постепенно. Изолировав его от внешнего мира. Хотя совсем отгородиться от него было невозможно. Как ты отгородишься, например, от сирен «скорой помощи»? Если живешь возле большой больницы, на перекрестке со светофором. И все «скорые», везущие тяжелых больных, страшно на этом перекрестке завывают сиренами, чтобы их пропустили на красный свет. «Лучше бы я на перекрестке у кладбища жил, – думал старик. – Там хотя бы сирен никто не включает. Духовые оркестры тоже, конечно, не подарок. Музыку же они исполняют всегда одну и ту же. Ни тебе польки-бабочки, ни тебе вальса-бостона. Только марш, да и тот Шопена». Впрочем, когда старик слышал сирену, он невольно понимал, что кому-то сейчас гораздо хуже, чем ему. Тем более сказать, что ему плохо, он не мог. Ему не было плохо. Возможно, ему не было хорошо. Но и плохо ему не было. Лежал себе, а силы из него уходили. И он, что называется, угасал. То есть он мог встать с постели, мог сесть – силы на это еще были, – он даже мог, если бы очень захотел, пройтись по квартире. Медленно, держась за стенку, но мог. Только зачем? Он не знал – зачем. Не видел в этом необходимости. И не вставал.

Дочка старика еще до того, как в какой-то энный раз выйти замуж и уехать к мужу в Германию, организовала ему уход от специальной фирмы. За то, что после смерти его квартира этой фирме достанется. Ну и пенсией тоже фирма распорядилась – тратила ему на жизнь и лекарства.

Правда, о таких фирмах ходили разные слухи, говорили, что старики, подписав договор, очень быстро умирают. Вроде бы своей смертью, но очень быстро. Дочка уверяла его, что все проверила и перепроверила, фирма честная, с репутацией, никого за годы своего существования не умертвила. Во всяком случае, жалоб на нее от клиентов ни в какие соответствующие органы не поступало.

Фирма действительно оказалась честной – наверно, честные фирмы тоже бывают, – и теперь каждый день к старику приходила патронажная сестра Катя. Она кормила его ужином, мазала бутерброды на завтрак, накрывала их салфеткой и ставила на столик у кровати. Вместе с термосом. В термосе был чай. Тоже на завтрак. Но можно было его попить и ночью. Хорошая девушка. Душевная и работающая. Кроме того, старику привозили обеды. Еще Катя давала ему таблетки, меняла памперсы, мыла, иногда мерила давление. И квартиру иногда убирала. Не часто, но все-таки. В общем, с бытом был старик хорошо устроен. Не каждому так везет.

Однажды он спросил у Кати:

– Ждешь, небось, чтобы я помер?

А она ответила:

– Почему я должна этого ждать? Вы живете – я работаю. Хотя и без вас, конечно, работа есть.

– А начальство твое ждет?

– Начальство – не знаю, – сказала Катя. – Начальству виднее.

– Но как я себя чувствую, начальство у тебя спрашивает?

– Да, это спрашивает.

«Конечно, ждет, – думал старик, – у них бизнес от меня зависит, а я уже четыре года по договору с ними живу. Как не ждать».

А назавтра после этого разговора он попросил Катю дать ему ужин на тарелке из сервиза. Чего вдруг – неясно. Просьба эта возникла неожиданно даже для него самого. Был у старика мейсенский сервиз. Трофейный. Его родителям кто-то подарил в пятидесятые годы. На серебряную свадьбу, кажется. И когда родителей не стало, старик – то есть тогда он стариком еще не был – взял этот сервиз себе. На память. И вот в нем он попросил дать ему ужин. Сказал:

– Там, в серванте стоит, в большой комнате.

Катя вышла и принесла ужин на тарелке в цветочек.

– Вот, – говорит, – пожалуйста.

– Это не сервиз, – сказал старик.

А Катя пожала плечами и сказала:

– Вы не капризничайте давайте. Ешьте. Вы ж у меня не один.

Она накормила старика ужином, поставила на стол утренние бутерброды и термос. Таблетки тоже дала и сказала:

– До завтра.

– До завтра, – сказал старик, – до завтра.

А когда она ушла, он собрался с силами и сел. Посидел спокойно, подышал и нащупал ногами пол. Встать оказалось совсем не так трудно. Хотя с непривычки и нелегко. И он встал. Постоял, держась за спинку кровати, и двинулся вдоль стены.

В большой комнате не было не только сервиза в серванте, в ней и самого серванта не было. И вообще не было ничего – ни телевизора, ни ковра, ни шкафа. А главное, не было картин, которые дарил старику его друг, художник Колючий. Комната была пуста. Совсем пуста. И обои на стенах в светлых больших прямоугольниках от мебели и в прямоугольниках поменьше – от картин. Нет, старику было не жалко шкафа. Зачем ему шкаф? Ему даже сервиза было не жалко. Хотя, конечно, и жалко. Сервиз же был для него не посудой, а памятью о родителях. Он последний человек на планете, кто их помнит. Помнит, как в праздники ставили этот сервиз на стол. А последний, потому что дочь его, которая их, будучи ребенком, знала, тоже умерла в своей этой Германии в счастливом браке. Муж показал ей Европу и Америку и сделал для нее все, что мог, но она все равно умерла после тяжелой продолжительной болезни. О чем немецкий муж дочери написал ему русскими печатными буквами в письме. С год, наверно, назад.

Из большой комнаты старик поковылял в кухню. Там он нашел стол, газовую плиту, раковину. И холодильник, но не его, а чужой – маленький и обшарпанный. Старик напряг зрение и прочел: «Саратов». На столе он обнаружил несколько тарелок, вилку, ложки – столовую и чайную – и даже нож.

«Куда же все подевалось? – думал старик. – И когда? Почему я ничего не слышал?» И он решил, что вещи вынесли, когда он спал. А спал он теперь много и крепко. Проваливался, как сквозь землю, и всё.

«Конечно, мне ничего не нужно, – думал старик, – им нужнее, им жить. Хотя картины могли бы оставить. Картины мне все-таки жалко».

Еще в кухне, в углу, стояли рулоны обоев. И банки с краской. И что-то ремонтно-строительное. Стремянка, ведро и тому подобное.

Старик подобрался к обоям, оперся одной рукой о подоконник, а второй отвернул край рулона. И стал разглядывать.

Нет, рисунок ему не понравился. Абсолютно.

И.С.Тургенев

Где-то, когда-то, давно-давно тому назад, я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось мною... но первый стих остался у меня в памяти:

Как хороши, как свежи были розы...

Теперь зима; мороз запушил стекла окон; в темной комнате горит одна свеча. Я сижу, забившись в угол; а в голове все звенит да звенит:

Как хороши, как свежи были розы...

И вижу я себя перед низким окном загородного русского дома. Летний вечер тихо тает и переходит в ночь, в теплом воздухе пахнет резедой и липой; а на окне, опершись на выпрямленную руку и склонив голову к плечу, сидит девушка - и безмолвно и пристально смотрит на небо, как бы выжидая появления первых звезд. Как простодушно-вдохновенны задумчивые глаза, как трогательно-невинны раскрытые, вопрошающие губы, как ровно дышит еще не вполне расцветшая, еще ничем не взволнованная грудь, как чист и нежен облик юного лица! Я не дерзаю заговорить с нею, - но как она мне дорога, как бьется мое сердце!

Как хороши, как свежи были розы...

А в комнате все темней да темней... Нагоревшая свеча трещит, беглые тени колеблются на низком потолке, мороз скрипит и злится за стеною - и чудится скучный, старческий шепот...

Как хороши, как свежи были розы...

Встают передо мною другие образы... Слышится веселый шум семейной дере-венской жизни. Две русые головки, прислонясь друг к дружке, бойко смотрят на меня своими светлыми глазками, алые щеки трепещут сдержанным смехом, руки ласково сплелись, вперебивку звучат молодые, добрые голоса; а немного подалее, в глубине уютной комнаты, другие, тоже молодые руки бегают, путаясь пальцами, по клавишам старенького пианино - и ланнеровский вальс не может заглушить воркотню патриархального самовара...

Как хороши, как свежи были розы...

Свеча меркнет и гаснет... Кто это кашляет там так хрипло и глухо? Свернувшись в калачик, жмется и вздрагивает у ног моих старый пес, мой единственный товарищ... Мне холодно... Я зябну... и все они умерли... умерли...

Как хороши, как свежи были розы...

Сентябрь 1879

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. Шопен и Мендельсон

Одна женщина всё жаловалась, каждый вечер за стеной та же музыка, то есть после ужина старики соседи, муж с женой, как по расписанию, как поезд, прибывают к пианино, и жена играет одно и то же, сначала печальное, потом вальс. Каждый вечер шурум-бурум, татати-татата. Эта женщина, соседка стариков, смеясь, всем своим знакомым и на работе рассказывала об этом, а самой ей было не до смеха. Всяко ведь бывает: и голова болит, и просто хочется отдохнуть, невозможно ведь каждый вечер затыкать уши телевизором — а у стариков всё одна и та же шарманка шурум-бурум, татати-татата.

Они, старики, и выходили всегда только вместе, чинно и благородно семенили в магазинчик тоже по расписанию, раненько утром, когда взрослые, сильные и пьяные находятся на работе или спят, и никто не обидит.

Короче, со временем эта соседка даже узнала их репертуар, спросила довольно грубо, в своём шутилом стиле, столкнувшись с ними (они как раз шли в магазинчик во всем светлом и выглаженном, как на бал, она в поношенной панамке, он в белой кепочке, глазики у обоих радужные, ручки сморщенные) — чё это вы всё играете, здравствуйте, не пойму — то есть она-то хотела сказать "зачем вы всё играете мешаете", а они поняли ровно наоборот, всполошились, заулыбались всеми своими ровными пластмассовыми зубками и сказали, она сказала, старушка, «Песня без слов из цикла Мендельсона и вальс какая-то фантазия Шопена» (тьфу ты, подумала соседка).

Но всё на свете кончается, и музыка вдруг кончилась. Соседка вздохнула свободно, запела и завеселилась, она-то была одинокая брошка, то есть брошенная жена, вернее даже не жена, а так, получила по разъезду однокомнатную квартиру, и кто-то у неё поселился, жил, приколачивал полку на кухне, даже кое-что купил для снаряжения уборной как настоящий хозяин, пришёл с седлом в упаковке и поставил его на болты, приговаривая, что что же это за сиденье, сидеть нельзя. А потом вернулся обратно к себе к матери. И тут эта музыка каждый вечер за довольно тонкой, как оказалось стеной, вальс Шопена и с ошибочкой в одном и том же месте, с запинкой, как у застарелого патефона, можно убиться. Телевизор же стоял у другой стены, а здесь был диван, как раз патефон оказывался каждый вечер под ухом. То есть слух у этой соседки обострился как у летучей мыши, как у слепого, сквозь весь грохот телевизора она различала проклятых Мендельсона и Шопена.

Короче, внезапно всё кончилось, два дня музыка молчала, и спокойным образом можно было смотреть телевизор, петь или плясать, правда, кто-то отдалённо как бы плакал, как ребёнок пищит выше этажами, но это тоже кончилось. "Ну и слух у меня", — потом сказала на работе эта соседка стариков, когда всё выяснилось, то есть что этот писк был писк мужа старушки пианистки, она была найдена не где-нибудь, а под мужем на полу, он уже, оказывается, давно лежал парализованный в кровати ("а я-то думала нет, я вроде их встречала, но это было ведь давно?" — сама с собой продолжала этот рассказ молодая соседка), он лежал парализованный, а жена каждый вечер, видимо, играла ему свой репертуар под ухом у соседки, чтобы его, видимо, развеселить, а потом она как-то упала, умерла у его кровати, и он стал сползать, видно, к телефону и в конце концов рухнул на свою жену, и из этого положения всё-таки позвонил как-то, квартиру вскрыли, оба они уже были неживые, быстрый исход.

"Ну и слух у меня", — жаловалась их молодая соседка всем подряд по телефону, вспоминая тот отдалённый писк или плач и рассчитывая то время, которое понадобилось (вечер и вся ночь и весь следующий день), чтобы старик дотянулся до телефона, это он пищал, старичок, видимо.

"Ну и слух у меня, — с тревогой думала соседка о будущих соседях и вспоминая про себя с любовью и жалостью Шопена и Мендельсона, — вот это были люди образованные, тихие, пятнадцать минут в день шумели, и всё, кто придёт им на смену? И умерли с разницей в день, как в сказке, жили долго и умерли с разницей в день", — примерно так она думает, оглушённая тишиной, Шопен, Шопен и Мендельсон.